

Алёшка Емельянов

Битум

сборник стихов

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Алёшка Емельянов

Битум

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64348797

SelfPub; 2021

Аннотация

Стихи о жизни, любви, войне, дружбе и одиночестве среди огромного мира. Книга, которая не оставит Вас равнодушными. Содержит нецензурную брань.

Алёшка Емельянов

Битум

Кожаный месяц

Кожаный месяц во влажной пещере,

где сталактиты жемчужно-светлы,

плавно владеет в умеющей мере

мигом любовным в просторности мглы.

Он проникает то мелко, глубоко,

глядя в ресничные два озера

и на изгибы то сверху, то сбоку,

ивову крону лаская слегка

девы-природы – владелицы грота,

чей так извилисто камень внутри
трогает серп, чьи наполнены соты
соком, пульсируя в жажде реки,
млечной дорожки, желая излиться,
путь проложить, из себя ток пролив.

Нежно и страстно о стеночки биться
он продолжает до спазма всех жил...

Обиженность

Кварцевый спрут и железные сопла,
с вязкою смесью из пота и слёз.

Кремния пыль, будто кровию тёплой,
в венах ползёт, как шиповия роз.

Крошкой морозною холод спадает,
пеплом присыпав сухие цветы,
мёртвые радости, так и не тает, -
так боль хоронит сырые росты.

И разрастается хищник среди тела,
живь выедая, себя в новь внося,
чтобы уже не дышала, не пела,
и не знавала ответов, спрося...

Выситя, ширится – этим теснея
в большем селеньи досадной души
(яро раздутой от горечи, снега).

Окаменяет хозяйку в тиши...

Идея Просвириной Маши

Тьмище

Кофе остывшей золою

вянет в сухом сквозняке,

вязкие крошки смолою

слиплись лепёшкой на дне.

Туч обгорелая вата,

что наклубилась, как пар,

виснет, как тряпка, над садом,

луг оцепив и амбар.

Шарики яблок на ветках,
будто вокруг Новый год,
вишен гирлянды так едко
светятся. Чувств хоровод.

Будто тропу затянуло
жижею чёрной с болот.

Тиной, листвою пахнуло,
мёдом из этих чернот.

Лестница – мама забора,
что на бочок прилегла.

Век аж не видывал вора
старый замок, а стекла

тёмное зеркало блёкнет.

Койка в предвестии нег.

И от тоски сердце ёкнув,

дальше продолжило бег.

Только фитиль папиросы

тьму освещает, горчит...

Может быть, так перворосы

бури страшились, ночи?

Дряхлый шалашик веранды,

будто бы плот на волнах

моря бескрайнего, ада...

Стог сена, будто бы вал

шторма. А я капитаню.

Чуть ум качает табак.

Трапы порожков все тают -

это печальнейший знак

невозвращенья, крушенья,

неприхожденья утра.

И великаны-деревья.

Сотня синонимов драм.

Воют собаки иль волки,

будто чудовища вод.

Тьмище единое колко.

Суша? Река? Небосвод?

Смолкли певучие птицы,

дав волю юрким сверчкам

и мотылькам, думам виться.

Вечер разбит по клочкам,

собран в темнющую кучу,

сравнен в единый цвет, вес.

Краски исчезли в той гуще.

Двигается сонный завес...

Деревенская ночь

Язык костра в ночи сияет,

стан, души веток и ветра

ненасыщаемо съедает,
и не боясь с водой ведра.

И чёрный край немного ярче,
какой жуёт зверёк-огонь,
воспламеняясь выше, жарче,
но не касаясь трав и крон.

И оттого вся мрачь теплее.

Отраден чуть прохладный бриз.

И звёзды кажутся белее,
природней вдох и выдох, жизнь!

Здоровьем пышут ароматы,
цветеньем каждый лепесток.

И тут, наверно, есть и клады,
и Бог построил пруд, мосток,
и протоптал сюда дорожку,
и посадил той рощи чащъ,
и бросил в пашню перву крошку...

И был сей акт переходящ
на наших предков, нас и внуков...

Наш путь направлен по прямой.
Так пахнет чудом, ночью, луком,
малиной, грушей за спиной,
и плещет хвост красивой рыбы,

что лишь на миг на всё глядит,
испрыгнув из воды с изгибом...

Прекрасна ночь, где я и ты...

Просветлённые

Питаюсь лишь необходимым,

с благой молитвою в ответ,

внимая в Дух неоспоримо,

берём бутонами свой свет,

не больше, чем дано начально.

Умерен быт, наряд, улов.

Обряды родов и венчаний

творим у горных куполов.

И отдаём тела земле

лишь той, из коей вышли в жизнь.

Финал полезный. Не пылимся

и не дымим кострами ввысь.

И в нас все истинны поверья,

в умах молитв и букв тома.

И чтоб не рушить лад, деревья,

из камня строим мы дома.

И пьём источник без жады,

цветя с цветками наравне.

Внутри луч, вера высшей пробы

и божья сила, как и вне...

Живём одним, беззлобным родом,
с другим соседясь меж судьбой.

Так единимся мы с природой,
самим Создателем, собой...

Блеск в темноте

Завидуя свету, покою в уме,
величью того, кто даёт безвозвратно,
неверцы несут воду, жижу в ведре
к костру его речи, киша многократно,

будителя мух и трудящихся пчёл
на благо хозяйского дома и чрева,
что сахар им в зиму дешевле нашёл,

тряся жадной мышцей, которая слева.

И факелы палят и точат ость вил,
верёвки, чтоб в сноп увязать излученье,
на злобу ту тратя чрезмерие сил,
какие пошли бы на толк и ученье.

Он им, как заснувшему вспышка, гроза.

Уютная тьма примиряет и вяжет.

Сиянье горит и тревожит глаза

тем, что и в безграмотьи, липкою сажей

замазали очи. Им блески, как зло,

что будят и их катаракт размыкают,

куда-то зовя, к первосути основ,

толкают, глаголют, добром языкают...

Пророку не место, иль место во тьме...

Приход завершается казнью, пальбою,

прозрением пары... Все видят во сне

распятую святость бездумной толпою...

Оцеплённый

Звенья, как тягловый грех.

Цепи меня оковали,

свисли, одели, как мех,

холодом жгут и навалом

кости постёсанных плеч,

кожу железной одеждой,

что так сумела прилечь
чуть тяжелее, чем прежде.

И громыхает мой ход
(мне лишь подобное слышно)

снова, трудней новый год,
что прибавляет вес пышно.

Боли роятся копной,
ржавчина в ране кровится.

Коли искупишь дел зной,
в перья металл превратится.

И лишь тогда полетишь

к божьим вселенным поместьям,

грудь распахнув, воспаришь

наиспасительной вестью...

Lambrusco

Шиканье тающей пены

в шорохе летней листвы,

плотно налитые вены

жаждут питья и любви.

Локоны в ласковом ладе

мнёте, их чуть теребя.

Клади и рёбра веранды

дышат ветрами, скрипя.

Полнятся белые кружки

соком пьянящей лозы.

Брызги шипенья – мушки,

острая стружка грозы.

Линза сосуда мерцает.

Блеск пузырящих крупниц.

В ауре рыжей миг тает

магией всех заряниц.

Воздух играетя платьем.

Губы мечтательно пьют.

Гладким пороховым камнем

вечер любитса чуть.

Поручень обняли ткани.

Нежно струится нектар,

и все невидные грани

он наполняет, как дар.

Озеро, сельские нивы...

Первая встреча из встреч...

Бриз, как мальчишка игривый,

вдруг оттолкнул влаги течь.

Капелька выпала к краю,

плавно направившись вниз,

ровно, медово стекая

тропкой прозрачной. Зернист

пенки клубящий надсадок.

Вами, соблазном пленим!

Вкус, что иссушено сладок,

вместе, прошу, пригубим!

Татьяне Ромашкиной

Мученица

Экзема хибары плешивой,

изрезы, терновый карниз.

Сознание с верою живы,

что взорят окошками вниз.

Кровавые раны и шрамы.

И крыши отпавший парик
клоками асбеста. По грамму
кровавят побои. Стан сник.

Паучат сетями решётки.

Подтёки от времени, мук.

Смирение с участью кротко.

И нет ей отбоя от мух.

Зудит гниль, под мышцы засевши.

И тремор от дыр и знобья.

Фундамента пояс осевший

не держит обносков тряпья.

И лампочек муть. Как калека.

Подкрашены тушью глаза,
ресницы и жалюзи-веки.

Печальны судьба, образа

святой и измятой отчизны

под громом разрухи и гроз.

В обличии женской России

веками наглядный Христос.

Мальчик под деревом

Пью сердцевину сырую кореньев,

глядя на крону, расправы ветвей,

бессеменное, без цвета варенье,

что уже кажется пряней, вкусней

с каждым глоточком и вдохом сюжета.

Плавно и вязко, изящно идя
розовым руслом и вкусами лета,
сочным нектаром втекает, сытя.

Лёжа на травке, расправив чуть ноги,
спело вздымая набухшую грудь,
снова и вновь изымаю чуть соки,
чутко вкушая всеженскую суть.

Я отыскал это чудное место,
мило раздвинув два корня на ширь.

И мочковатости ниток так честно
снова вдыхаю, вбирая сей пир.

Листья колышутся, трепет играет,
страстью тревожа красивую высь.

В солнечной неге неспешно питают
сливки прозрачно текущие вниз...

Просвириной Маше

Машунья-вышивунья

Плети сюжет картины

из ниточек иглой

как в дар себе, родимым.

Вей бисерной икрой

набросок чистый, добрый,

делец мастеровой

и рукодельник тёплый!

Тебе то не впервой.

И в явь верши задумку,

что так нова, жива,

веди струной рисунок,

мотив, миф вышивай.

Твори и сумрак слушай

перед самым чутким сном.

Слегка порадуй душу

чуть налитым вином,

чтоб слаже и воздушней

среди бетонных гор

ваялось на опушке

и плёлся сна узор...

Просвириной Маше

Салаты

Стихи – салат из вкусных слов,

как фруктов, мяса ль овощей,

как дополненье средь основ

приправы дум и букв, вещей.

Съедобный, колкий ли цветной,

и с солью, перцем вперемес.

В балансе вкус и вес живой.

С какой изюминкой иль без.

Один творит сто блюд в обед -

то кулинар, что рифмой пьян.

Иной – одно куёт пять лет.

Дан каждому гурман, профан.

Стихи под соусом тоски,

тоска под соусом стихов.

Вобьются веком в лоб доски

те, что порхали без оков

творца, героя, что крошил

порою на кусок листка

тот порох нот, и суть вершил,
как мастер, жил у верстака,
точил. А повар верил в высь,
готовил лучший свой рецепт,
и претворял идеи в жизнь,
чтоб угостить шедевром свет...

Садки

Ячейки холодного плена.

Бетонный садок для мальков.

И тянутся разные вены -

проводка и трубы с углов.

Как улей для пчёл однодневок

и трутней, и маток, трудяг,
иль клетка для птиц-недопёвок,
укрыть от всех передряг
скитальцам, что ищут прохлады
от жара, тепла меж ветров,
и скит от звериного стада,
сеть рыбам усталым без снов.

Густое строенье проходов,
как Ноев всеобщий загон,
без правил, единства под сводом.
Безличный, сухой Вавилон.

Все эти цементные брёвна,
щиты глинобитны в стекле
ползучим даны, перелётным.

Предписаны даже и мне...

Масленица

Тепло всеместно покрывает
простор, всё оттепель мостит,
прицельно солнце прогревает
и наледь радужно блестит,
сползают снег, льняные грани,
накрытья с поля, троп и глыб,
и обнажаясь щебень, камни,
глядят, как очи древних рыб

из вод озёр на синь небесья.

Сквозняк срывает пелену.

Дождь удержавшие деревся

в стекольном замерли плену.

Капъ по карнизовому краю,

по клавишам. Смычки теней.

Шуршащей светлостью играют

хрустальны струны всех ветвей.

И окна искрово сверкают,

скрипит сарай своим холмом,

и партитурой выступают

листы изогнутых домов,

где вещи – ноты для симфоний,

и иероглифы антенн...

Кружит поток живых мелодий,

поющий, вольный пересмен.

33

Тройка и три, как значок "бесконечность",

коли одна повернётся назад,

и разворот сотворит уже вечность,

да и скрепится вселенский разлад.

Нечто превысшее, суть ли Иисуса,

или двух цифр бесцельный повтор?

Шифр, загадка всё ширит, не узит.

Души масштабнее тел и их пор,

и бесфинальны, бессрочны родами,

ростом и возрастом старше Земли.

А оболочки-одежды с годами

трутся и блёкнут, копя боль, рубли.

Этот износ только временно горек.

Дата – середина, конец ли моста?

И получая год новый из троек,

не повторить бы судьбины Христа...

Бегство

Из стенок бетона, асфальтовой пашни,

сетей проводов и вонючих штанов,
и острых клешней, и тюремистой башни,
гудящих моторов, торговых шатров,
из кучи камней и стекла, и бумаги
(какую взымали леса изгубив),
где сэры не стали ни Богом, ни магом,
исконной природы тот идол срубив;
из тонн штукатурки и пудры, помады,
из жижи духов и бензиновых луж,
скоплений носов и волос, будто ада
и топи болот, на раздолье и сушь
сбежать бы, и в свежесть зелёного леса,

к невинным деревьям и чистой воде
из этих владений косматого беса,
что крошки и сопли скопил в бороде,
добро под когтями и вшей под бровями,
в зубах отгнивающих клочья людей
ещё непрожёванных, полных кровями,
отдавшим ему в жертву сотни идей,
мечтанья и силы во имя крох, дома.
Мне в пасти его не желается быть!
Хочу убежать к распусканьям бутонов,
речушкам и травам, где можно повить

и выпустить криком озлобленность выше,
свободу впитать среди избы и куста...

Но там комары ждут, колючие ниши,
медвежьи лепёшки, гнилая листва...

Ambulance

Крестовый змей на белом облаке
цепляет челюстью мышей,
что в лодке скорченно и скомканно
плывут из разных этажей.

Так незаметно, звоном ль шаркая,
порой спеша, порой ползя,
глотают серых, ведь не жалко их,
живых, которых смять нельзя.

В любой сезон охотой славится,

скрипя чешуйностью пластин.

И ждущим смерти зверь тот нравится,

что к ним стремится из низин,

порою сверху... К зову чуток он.

Чуть опоздает – схватка, бой

бескровней и смиренней сгусток, тон

бессильной жертвы, чей покой

внутри себя утащит с шорохом

её всю кровь, филе, уста,

в туман снесёт умело, волоком,

исчезнув в ливне, тьме, кустах...

Располагающая к себе

Я Вами обглажен, как кот,

услышан, как путник, согрет.

Не ведал подобных щедрот

без малого тысячу лет!

Бронёю, пальто и душой

без страха, смущений любых

распахнут, откинувши слой

печалей и грязей былых.

Доверчив, хоть пуганый зверь.

И птахе побитой в былом

я снова открыл настежь дверь
грудины (что клеточный дом).

Касанье целуями Вас -

испитье цветочком воды.

Премножеством трепетных ласк

обвит я среди суеты,

и обнят прилипчиво, в такт.

Вы – дивно-насыщенный сад.

Всё это прекраснейший факт,

какому расширенно рад!

Просвириной Маше

Медоед

Жёлтые сливки на розовом блюде,

рамок нектар до изящества спел,

рот принимающий будет посудой,

сок собирая в раздвижности тел,

что пригласили к обеду друг друга,

вновь обещая вкуснейший изыск.

Сами себе пир, правители, слуги.

Скатерти отблеск наглажен, ворсист.

Капли, подтёки так лакомо-сытны,

с лёгкою влагой – пикантная смесь.

Два пировальщика ласковы, скрытны,

стоном тревожат обойный развес
леса и штор, травы сдвинув немного
кубьями торса, изгибом спины,
дугами рук и стопами, сосновый,
песенный ритмы вдохнув из весны.

Трапеза приторна, сочно-прекрасна,
аж распаляется страсть, аппетит!
Смотрят чуть узкие очи, как ясно
влажная мякоть на солнце блестит...

П.М.

Мески

Сцепившись с подраненным зверем,

что душу чрез кровь отдаёт,

впиваюсь и пью полной мерой

его сок, аж самка поёт

волшебным, прерывистым стоном, -

и это приятно вдвойне,

от сытости, звучного звона,

победы над нею – втройне.

И пасть моя, лик окунулись

в текущий, живой экстерьер...

Голодным, что в пир принагнулись,

неведом отказ и барьер!

Воитель, смирись с положеньем,

сведи до ничтожья суть фраз,

когда ты раздвинешь коленья,

даруй мне индейский раскрас!

П.М.

Renault

В значке "Renault" проделал дырку,

за неименьем пись-щелей.

Мне показалась Ваша пылкой,

среди иных стройней, милей.

И положив упруго руки

и не на "Honda", не "SsangYong",

я, солидолом смазав дуги,

взимел, засунув шланг в проём.

Творил с тоски, и без угрозы,

скользя по хромовым краям,

аж чуть яйцо не приморозил

к её прохладнейшим губам.

Надеюсь, Вы не обозлитесь,

придя к машине нетайком,

хоть сильно, знаю, удивитесь

замёрзшим брызгам над замком...

Пречистость

Мой личный храм из камешков и веток

среди лесов с тропинкою иль без.

И пусть молитвою не буду строен, меток,

и не средь тех его построил мест,

и без икон, ларца для возложений,

ведь тяжести монет мешают полететь,

без златости одежд, настенных украшений

и без свечей – во мне сияет свет,

и он для Бога лишь, не отопленья

монашских рук, церковного всего.

Вовеки обойдусь без сана и молений,

Господь услышит ум и мыслей тишь и хор.

Аскет без грёз на лоне царь-природы,
и водомерка-Бог – по глади бегунок.

Тут каждый день чудес вершатся роды.

А куполом всему – обычный чугунок

над хужиной моей. От мира отщепенец,

где мусор улиц, дум внутри людей,

и неуютно так, коль там одни безверцы,

что крестятся, когда схватило посильней.

Уютно тут: среди снегов иль бури,

зверей и птиц в моей избушке лет,

наедине с сосной, источниками сути,

пречистостью идей, где безгреховный цвет...

Сигнальная ракета

Смотрели свой сон обороны

и вил свой мотив ветерок...

Но вспышка на очи-оконца

легла, как закат или рок.

Как звёздочка вдруг засветилась,

как уголь от взрыва ветров.

Опасностью всё озарилось

и шумом бегущих шагов.

Вдруг ожили звуки тревоги,

которых не ведали впредь.

Ракета, как будто бы рогом,

вспахала темнистую твердь.

Проснулись полки-волеборцы.

Трассируя нёбную грязь,

взметнулось последнее солнце,

прекрасно и красно взорвась.

Что-то там

Кольшется что-то на склоне плеча:

то ниточка лёгкая трогает кожу,

то ангел, в мечте ли топор палача,

который скривил в предвкушении рожу,

иль это чужая холодная нить,

(не вижу какого завива и цвета),

которая хочет немного пожить
на глади пока что живого поэта,
иль веточка это, от меха откол,
пушинки частица иль пёрышко птицы,
упавший в полёте пылинки помол,
пыльца то, иль пудра смогла приземлиться?!

Увы, не узнается тайны сюжет,
к чему мимолетное было то дело!

Быть может, причудилось, чувственный бред.

Как тронуло, также внезапно слетело...

Начало непогоды

Порыв природного разлада -

внезапный иль задумка слуг

отдела ливневого склада?

Вьют черви-улицы вокруг.

Удавы-трассы, люди-мышы

и луж трамбующийся плёс,

рифлёный вид у каждой крыши.

Шипит сквозняк и ход колёс.

Шум рушит ровности покоя,

меж туч искрит пила-гроза

и режет их клубы покроя,

как лесопил, залив глаза

вином, дождями так сумбурно,
и гром колышет ветхий дуб,
в гаражный бок стуча безумно,
как пьяный ночью в стенку тумб.

Ветрище треплет занавеску,
афишу сбив одним броском
и провода связавши леской,
бежит за порванным листком,
какой спасается за стенкой
забора, верен что судьбе -
стоять всегда, не дрогнув венкой.
А серость топит день в себе.

Бельё прибив к земле разрывом,

буянит шторм, грызя клыком

листву и стяги с ярим рыком.

Флагшток острится весь штыком.

И ход торопится к навесам.

Ах, не промок бы сдобы ком!

Спешу, ведь ждёшь меня чудесно,

паруя свежим кофейком...

Вы! Вы! Вы!

Вы – аура радуг и фея.

Одежд камуфляжная сеть,

волос кучерявых траншеи,

объятья спасают от бед.

И с Вами я – Бог, небезбожник.

В наряде любом Вы милы.

Лечебный листок-подорожник,

аналог всебожья, пчелы,

кудесница, диво сокровищ,

весна, совершенный магнит.

Не знаете лжи и злословищ.

Вас грех ни один не грязнит.

Вы грёзам моим откровенным

давно уже стали виной.

Я горд и польщён многомерно -

желанная всеми со мной!

Малый городок

В крестах замылены окошки -

провинций жалобная быль.

В грязи корявою лепёшкой

лежит матерчатая гниль.

И шелушатся рам наряды,

на вишнях гарью порох-тля,

как будто бы вчера снаряды

летали, стены, сад рыхля.

Тут старость квохчет, угасая,

топча двойную колею,

а зрелость камешки бросает
в тех юных, что живут, поют.

Спадает хрустко черепица,
былых балконов вянет грудь,
подол домов линяет, лица
глядят в разжиженную суть.

Навёрты липнут на колёса
чернистой глины. Бисер-сор.
Тут дураком прижжёны лозы,
что дали бы на вина сок.

Стыдятся ум и губы счастья

среди молвы, старух глумных,
среди бескрылых и несчастных,
чтоб не обидеть взлётом их.

Тут быть богатыми опасно.

Здесь вместо клюшек костыли.

Дух, нос сникают неподвластно
среди оглушенья и пыли...

Дома-воины

Дома, как воины с козырьком,
глядят навстречу трубам зла,
плюющим с мощным огоньком
картечью, ядрами с поста,

врагам в лицо, что бой чинят,
дырь рытвин в их портрет внося,
моргая стёклами, болят,
в ответ, подмоги не прося
у замков и сараев, древ.

Сражаясь, никнет верный строй.

Стан осыпается, ислев.

За их спиной живой покррой.

И наклонясь, хранят свой нрав.

Глаза, фуражки вниз летят.

И видит город-генерал

погибель рот, полков ребят...

Придут на смену сотни чад
и ветеранов с сетью швов,
что будут биться без пощад
за жизни хат, полей и рвов...

Lonely coffee

Порохом горячим
кофе слизь дробит
и горчинкой скачет.
Я стрельбою сыт.

Брызги чёрно мечут
свой сырой салют,
тем печали лечат.

Сахарный тот брют

патокой втекает,

мягкою смолой,

сердце подгоняет

молотой волной.

Вкус плетётся сочно.

Чистый, ёмкий вкус.

Жив рецепт построчный.

Низкой пенки мусс.

Влага, как из рая.

Пышный запах юн.

Приходи, родная,

нам двоим налью...

Черепки-2

Вязко и плохо, извечно в тоске,
жизнь непроглядна, и тесно, темно,
хмурые краски при каждом мазке.

Может, ты – просто сплошное говно?!

Полтысячи фрикций, встречаний,
совместных круизов и снов...

Но это лишь труд гениталий
и похоть, совсем не любовь!

В чужие объятия, события,
к признаньям сухим и глухим,
чтоб быть незабытым, чуть сытым,
толкает страх быть тут одним.

Нет, не высоких принципов
морали, – все кривы.

Поэт, герои, принцы ли
земные, как все вы...

Эпичные профессии:

писатель, царь, солдат

и главы фирм, конфессии

просты в рутине дат.

Любой обычен праздник.

И все в семье чужды.

К веселью неприязни.

Совместный акт еды.

С любовью рождённые, с сердцем,

не с выгодой гонок, охот,
хозяина ждать чтоб у дверцы -
собаки дворняжьих пород.

Можно искать счастье год иль года,
тут обрести, на закате ли века.
Это прекрасно, волшебно, когда
космос сомкнётся в одном человеке!

Жую я шоколадки,
как пальчики, хрустят.

Стройны, сочны и сладки,
как пи*ьки негритят.

Маточный домик и яблоко, мяч,
сердце и череп, поэтность молекул,
яйца – и это всё мне для удач -
восемь даров одного человека.

Мы дарим планете сексящую хлюпь,
не требуя ласки и кубка взамен,
улыбки трёх пар обожающих губ,

в одну (поперечную) брызжет мой член.

Кузнечный ад – костёр и клещи,

котёл и жар, железный склад.

А для кого-то это вещи

похожи суммою на ад.

Реальность зла. Ночами слаще.

Ненужность вести, перемен.

И с каждым годом спим мы слаще,

готовясь к смерти каждый день.

Потребность в тепле

Потребность в чуде, ласке,

принять и любви,

заботе, взорах, сказке

живут в людской крови,

пуская глубже корни.

Нацелив к небу рост,

на мир не глядя сорный,

цветёт бутон волос.

Из тёплых чрев все вышли,

и вновь хотят тепла.

Валежник, рощи выжгли,

но мал тот жар добра

в сравненьи с материнским

и женским волшебством

даренья дальним, близким,

кто тянется с родством.

Так греет мать ребѣнка,

и фараона Сфинкс,

рогатица – телѣнка,

чай – ложку и сервиз.

Влеченье, тяга к небу,

где Бог прогнавший вон

из дома в хладь планеты.

Ах, если б не огонь,

какой украл с дебютом

тот Прометей для нас!

Нужда в лучах, уюте

дороже спичек, фраз...

Смотритель железнодорожной станции

Будильник рельс тревожит

с тоской смиренный ум.

Вагоны цепи множат,

несясь потоком сумм.

Смотритель, наблюдатель

за гладью трав и шпал,
сонливый маг, старатель,
дорожный аксакал

в оранжевом наряде,
с железною клюкой,
в привычнейшем обряде
глядит на люд изгой.

Как ветеран бывалый,
а мимо – эшелон.

В сезон морозный, талый
он смотрит через сон
на маски, длинь и шири

чугунных спиц и вой
гудков из будки жирно,
как пёс сторожевой.

Жив курс поездок, сметы
под ливнем, меж снегов,
а ход жив и бессмертен,
в отличие от него...

Рыбный фарш

Взрывно ревели пушки
потоком затяжным,
вздымая кверху сушу,
рвя списки послужных.

Так главный чёрт резвился,
плюясь всезверьем зла,
и вшою к трупам шился
так хищно среди сна,
рогатил тишь благую,
копытил целину,
как плеву дев тугую,
им ставя страсть в вину.

И весь зверинец дикий
направив в стан врагов,
срезал им руки, лики,
и множил полк волков.

Искрился хвост питонов

и нёсся кобры яд

из пасти этой злобной.

Кидал акул снаряд

в аквариум, где жили

с винтовками мальки,

портянки, раны шили

одной иглой. Быки

сносили вмиг постройки.

Летел огонь с ноздрей.

Плюясь напалмом горьким,

сметая стойки древ.

Царь-бес кидал шрапнелью,

метая крики ввысь.

Вгрызались в лоб, шинели

осколки-зубы, вниз,

впивались в шеи, щёки

разрывы хищных ртов,

смыкали жизнь защёлки

накровленных клыков.

Так демон веселился

зверями всех мастей.

Он в местность тут вселился

надолго, до смертей...

Так жёг он ночь сухую,
рвы, дзоты, гладь, блиндаж,
то зряча, то вслепую
мешая рыбный фарш...

Фасады

Тут челюсти балконов
хватают снег, листву
и брызги с серых склонов
стены, отдав кусту,
немного вниз отплюнув.

Роняют влажь с губы,

а ветер, резво дунув,
понёс ту нить слюны.

И чавкают так сыро,
песок с бород кроша,
свистят бетонны дыры,
чуть порослью шурша,
травой, порой кустками,
смотря стекольно вдаль.

Худеют, сохнут рамы,
ссыпая краски тальк.

Морщинно сводят жилы,

метель и жар жуют.

Недавно ж юны были,

и вот истленья ждуг...

Законы природы

Симметрия счастье-несчастье,

порядок, всеместный баланс

безвластия, рабства и власти -

заведомый божий балласт.

Творенья по нуждам и кодам.

И споры людей нипочём

заветам начальной природы.

Кто жив тлёт, кустом и ручьём,

тот тоже в системе единой,

которой название "жизнь".

Свет, тени, протоки и тина

как общий живой организм.

Искусанных, съеденных, битых

и сытых всеобщий расклад.

Цепей пищевое соитье.

Пред бурей, за бурею гладь.

Союзы комедий, дел, драмы.

Созданья – ответ временам.

Широкий обгляд панорамы.

Какое же место в ней нам?

Старый дворник

Точёный клык кусает

сырую наледь зря,

бурит и лёд кромсает,

очами цель сверля.

Сапожья грубо пашут

всю рыхлость новых пен,

метлой, лопатой машут

иные в пару смен.

Луна своею лампой

наплавила каток,

залив ямищи, ямки

зеркальем средь досок.

В пороше мост, деревья

и площадь, блеск реки.

Зимой природа с ленью.

Домов, ларьков буйки

на выглади замёрзшей.

Стекло всех троп, дорог.

Все ёлки – белый ёршик,

а храм – молочный стог

с медовой, яркой шапкой.

Смех детский и коньки,

с рассветом ало, жарко

им всем. Глаз огоньки.

Лишь труд других потливый

гремит в расчистке гор

невесело, сварливо.

Порой с шестом топор

шинкует бель упорно,

хрустальной корки цвет.

Профессия покорна

всем непогодьям лет.

Всю утра тишь он будит,

рыбачит, взявши жердь,

кряхтя, звенит, гарпунит,

стуча в большую твердь.

Он – дворник лет преклонных.

Снег – волны, валуны.

Титан, что пуще оных,

ждёт яви солнц, весны.

Растворение в нирване

Всмотришь в тишину и покой,

наличье беззвучья и мрак,

в которых ты – тень и изгой,

как в почве (чужой почве) злак.

Проникнись молчаньем травы,

к пространной её немоте,

к несложности. Травы правы!

Прислушайся вмиг к темноте.

Ни звук и ни слог не внося

в наполненность эту ничем,

покорность твори, не прося,

не плача над горем совсем.

Откройся под чистый поток,

отринув кишащий мазут,

который несёт городок

из мяса, машинностей тут.

Забудь всё бывшее с родным,

и, слившись со всем, распадись,
и снова стань щедрым, одним,
лучами, добром расплодись.

Вникай, пропитавшись теплом,
прохладой, даваемой здесь,
цветочьем, невидимым льном.

Впусти гармоничную смесь

в щелины, поры и ум,
и Бога в безвидьи увидь.

И только приняв меры сумм,
научишься правильно жить...

Детские дома

Вольеры, рассадники боли,
загоны несчастных и злых,
задверочный ад среди соли
раненьям, не видящим сны,
теплицы забытых детишек,
где каждый – обрезанный куст,
где ласки не будет, излишков,
где груда искусственных чувств,
где будут обноски одеждой,
где племя рычащих, немых,
где слёзно промокла надежда,

где чада для бойнь огневых,

где главный садовник тиранит,

где будет избит соловей,

где мэтры намеренно ранят,

где хищные тени друзей

среди плесени, стай паразитов.

Бой до совершенности лет.

И днями нет смысла грозить им,

ведь ночью не видит Бог бед.

Сникают поэты и леди

до пыли, нижайшей травы.

Бутоны великих наследий

репейником станут, увы...

Подростки

Как тощие птенцы,

буяны, что трезвы,

как глупые смельцы,

как блохи, что резвы,

как блики ярких чувств,

разрозненно легки,

отсутствуют боль, грусть,

как глина, снег мягки,

их звук – цыплячий шум,

пластичны голос, шаг,

и ум без тяжких дум,
проросты в сорняках,
как бабочек жуки,
как главы без седин,
как жизни без беды,
мальки в потоке льдин,
как слепки с рук родных,
наживки для китов,
в путях всё обходных,
просвет меж облаков,
живёт незнатый сорт,

дород иль недород,
поим вином их рот,
не млеко, свежий род.

Поток сознаний

Вдруг отщёлкнув свои каменных ног,
нервы канаты и корни родивших,
плавно взлетаю, и слышу, как Бог
тихо зовёт из таинственной ниши.

Голос знакомый. Вне времени я
чисто качаюсь среди лабиринтов,
будто в невидимом племени. Яд
или лекарство из пен гиацинтов

телом владеет и памятью, всем!

Резко спадает солёная плёнка,

взрору я красок неведомых семь,

и растекаюсь, суммируюсь тонко.

И созерцая блаженную жизнь,

и на оттенки мелодии глядя,

то превращаюсь в пиранию, то в слизь,

птичье перо, то в комочек помады,

в разное то, чего раньше не знал...

Вдруг ощущаю наличие похожих,

юных и старых пилотов в навал,

тенесплетенье, и снова расхожих...

Это всё души умерших, живых
или готовых чрез сутки родиться?

Сотни картин и сюжетов за миг,
и бессобытие щедро ветвится...

Тут исповедаться надо, молчать?

Молятся тут или просто витают?

В этом покое прозрачном, лучах
стоит забыться, забыть, чего знаю,

или всё вспомнить из прежних веков,

что вмиг замылили, замысел судьбам,

и наносное отринуть от слов,

мыслей и тела, что бренно и грубо?

Вхожий тут в ямы и ушко иглы,
мирно, ни тени, ни звука, курсива,
нет и молчания, тьмы и золы,
нет и цветенья, а всё же красиво!

Сладкие, пресные выдох и вдох.

Тут невозможно-возможно распасться.

Будто паденье в пушистейший мох.

Как невесомистый вакуум счастья!

Будто отплыть на ста кораблях

сотни частей близнецов издушевных.

Да и куда тут на миг не приляг,

мягко-духмяное стелище древних

трав и цветений, но с виду их нет, -

будто мираж для мечты неизвестный.

Кожа – мембрана, весь я – инструмент,

чьих-то касаний. Я – музыка в песне.

Тёплые среды, бесстрастье страстей

и возвышённо-безместное действо,

чудо-сосуд, бесконечье вестей...

Соки цветка – пречудесное средство.

Ленно втекаю в ничто существом,

вижу, как плаваются волны и тают,

как тишина, будто суть-вещество,

всё бестелесье моё обретает...

Круговорот жизней

Горы, метели, расплавы позёмки,

лава листочная, каменный ком,

льдины – застывшие серые лодки,

пламя, ползущее белым снежком,

жжёт их невидимо глазу людскому,

их щекоча языками огня.

Зимние выси, разломы мирского

тайно живут, изменяясь во днях.

Голые ветки – сухие кораллы,

что по весне нитевидно живут,

но по июлю дадут плоды ало,
а в ноябре без сраженья умрут.

Быт переменчив единых законов.

Вышли из низа, выросли, пали вниз.

Но по дождю, солнцу встанем мы снова.

Год, день и месяц, как новая жизнь.

Преклассная

Чарует твоя красота -

имеет волшебье и лад,

на кою цари, босота,

плебеи дурманно глядят.

Узорны поступки и речь.

Средь старостей ты молода,
среди зрелых – изящности плеч,
среди юности – сочно-спела.

Певуньей превольно поёшь,
не знаешь плененья в узде,
кудесницей нити плетёшь,
танцуешь принцессой везде.

Мила твоя каждая длань,
в зрачках опьяняющий круг.

Как юная, стройная лань
среди стада линяющих сук.

Когда ты вдали иль стоишь,
я сердце душой тереблю.
Всю тьмищу собой озаришь!
Ещё чуть, и я люблю!

Просвириной Маше

Неродившийся

Ты был бы воином разудалым,
иль инвалидом за окном,
боксёром, чьи сильны удары,
дворовой девкой за углом,
портовым пьяницей горячим,

певцом, сказителем поэм,

царём, гоняющим подьячих,

холопом, что услужлив, нем,

бунтарской искрой революций,

иль самым рьяным палачом,

иль не дожил бы до поллюций,

иль одарённейшим врачом,

маньяком, рубящим умело

в кустах иль целый свой народ,

красоткой с царствующим телом,

иль опозорившей весь род,

Афиной, Вестой иль гетерой,

иль бесталанщиной средь муз,
и с некрасивой, низкой дермой,
соединительницей уз,

геройским, глупым генералом,
отдавшим Молоху весь полк,

иль промышляющей аналом
среди рябых за хлебный клок,

иль самой чистой, светлой леди,
мечтой для мальчиков, отцов,
и от которой были б дети,
прославивших семью творцов?!

Старые хрущёвки

Намятые ливнем, ветрами
прыщавые морды домов,
пронизаны пылью, дымами,
ошпарены солнечным днём,
осеяны стружкой выюги.

Обрюзгли. Причёсок стога
из шифера. Будто бы слуги,
кулачены бурей в бока.

И включены слева и справа
пальто их, что тёрты, грязны.

Щетины фундаментов ржавых
наростами мха поросли.

Скрипящие гнутся в поклонах.

И вшами тут крысы снуют.

Сияют нарывы балконов,
капелью разорванно льют.

Дряхлеют, воняя чуть прело,
открывши беззубые рты.

Подтёки слюны плесневелой
впитались в подгубные рвы.

Шнуров-вен вздуваются гроздь
и лампочек гаснут зрачки.

Таблички отплюнули гвозди,

роняют названия, значки.

А раньше румянились щёчно

кирпичною кладкой основ.

Теперь – остареюще-жёлчны.

Мир – дом престарелых домов.

Захоронение

Не надо гвоздей и стучаний,

и рёва в несущем пути,

и криков о боли, скучаньях.

В покое желаю сойти

я в низшие, хладные низи,

откуда когда-то пришёл,

где стану скелетом и слизью,

где будет без зла хорошо,

где будет так тихо-претихо

среди оземлённых корней.

И будет знамением лиха

шуршанье ползущих червей.

Штыкните лопатами вскоре

бесслёзно, ведь к Богу иду.

Жаль только, не видел я моря,

но сверху на синь посмотрю.

И, взявши себе передышку,

насыпьте бугристую твердь,

оставьте чуть сдвинутой крышку,
чтоб душка смогла пролететь...

Врач и он

Ты не родился. Знать, так надо.

Не надо миру вдов, бойцов,

да и вокруг так мало лада,

полно бед, девушек, юнцов,

да и поэзии не место,

от прозы всем ещё больней,

и есть кому заквасить тесто,

кому убить, доить средь дней.

И без тебя тут есть идеи,

и класс, что ты не среди земных,
и не зачислился в злодеи,
не стал ненужным и больным,
и камнем, целью для побитий,
поленом для чужих костров,
не задушился связкой нитей
от горьких лет, без дел, даров.

Непоявленьем дал возможность
пожить другим, не сделал схизм,
и не впитал дымы, порочность,
иль этим спас кому-то жизнь...

И нерожденье – ляпка божья,
как с Евой и Адамом, – грань
везенья, иль случайность, может,
иль тайно-скрученной план?

Земляной червь

Съедаю ниточку за нитью

подземных веток и кустов

ствола, и жажду плотной сыти

среди аппетитнейших ростков.

Они сочны. Не стали пнями.

Тут только сыро по ночам,

как и весной, октяблями.

Песочно и темно в очах.

Зато нет птиц и капель яда
и зимней смерти средь оград, -
вещал упавший про расклады
ко мне в кишасий мраком ад, -
что в небе солнце (да какое!),
и что из гусениц чудных
вдруг появляется такое,
что машет красками ржанных
и белых, синеньких узоров,
что разных вкусов, цвета, форм
висит еда, и есть ликёры

из застоявшихся; есть хор

поющих птах, сверчков невидных,

что много тли, иных невест,

что видел стопки капсул винных,

но он жилец не этих мест;

что наверху вкуснее почки,

листочек каждый жилист, спел...

Одним – плоды, другим – цветочки.

Темь подземелья – мой удел.

(А мой же гость ослеп, прижился,

забыл гурманность на сорта,

и как сентябрь задождился,

предстал обедом для крота)...

Одухотворённая

Тьма надвигается тише и гуще,

краску заката окрасив в свою.

Волосы наши, как взбитые кучи,

трогает бриз, наклоняя ко сну.

Занавес-веер и складки одежды.

Кухонный кубик просторен и мал.

Я б не заметил подобного прежде,

но вот с тобою о многом узнал:

людях, про их неуменья и шоры,

и о нагреве земного ядра,

и об оттенках багряных и жёлтых
старого солнца, о быте крота,
жизнях цветочных, плантациях чая,
звёздных падениях, фауне, льде
и о моторах, что диски вращают,
даже о росте седины в бороде,
и каким запахом дарятся волны,
божиих сущностях в тысячах лет...
Жёлтую вечерю праздно тут полнят
кофе, любовность и дым сигарет...

Просвириной Маше

Детдомовцы

Сырой, простреленный курятник

под злым присмотром диких лис,

забытый Господом дитятник

с пустым корытом, чей худ низ.

От зла, пустот сбежали крысы.

Смешались числа в вязкий ком.

Тут вши колючие изгрызли

пушинки коек, поры кож.

Тут лишь игрушки в такт ласкались,

хоть все засалены в годах.

Для всех иконами назвались
тюремных нравов господ,
что их ведут к полётам мнимым
уже бескрылые тела,
как жирно-траурные мимы,
сироты – в днях учителя.

Тут безродительный ребёнок,
познавший голод, тягло бед,
седой, заклёванный цыплёнок
с пелёнок ищет счастья свет...

Патриархат

Ты должна быть живой,

всепослушной, моей,
и рабой ломовой,
мастерицей среди дней,
эротичной в ночи
и монашкой с утра,
не искать ста причин,
чтоб отсюда удрать.

И пускай я не царь,
для тебя я – король,
не богат ум и ларь.
Твоё счастье, не боль.

И пусть сед и пузат,

весели и балуй,
и хвали даже зад,
и не спорь, не лютуй,
не стони, не реви,
и мой орган лишь знай,
и за замок прими
сей старинный сарай.

Вот такой вот устой!

Будь готова в Тартар.

Ты навеки со мной,

как имущество, дар!

Блуждания

В тропических дебрях плутаю,
в постройках, забытых лесах,
и сразу же будто бы таю,
но вновь появляюсь в кустах,
и снова шагаю в пролески
по щёткам опушек, лугов,
с собою, округою честен,
пространен в широтах снегов
и тихих, песочных нагорьях,
и в зарослях ив, камышей,
за панцирем древних подкорок,
в оврагах и в норах мышей.

Гуляю забывши, забыто
порогами горок бреду
и вижу оврагов корыта
и листья, и стебли в цвету,
и слышу все звуки, беззвучья,
брожу меж косматой среды,
как рисина в лохмах кусучих
чужой и сырой бороды...

Население таверны

Тут лязгают хамски майоры
икрою без хлебных краях,
бандиты похабною сворой

и дети потомственных шл*х,
неледи, бывшие принцессы
и геи с намёком "минет",
гнилые бродяги, повесы,
пьянчуги в опившести лет,
хабалки с сырым подбородком,
голодники с дюжиной чаш,
порою писатель так кротко
углы подпирает, как страж,
и зелень дурных солдафонов,
пучки малолетних дельцов,

юнцы, зря галдящие хором,

тудяги с чинами отцов,

зовущие рты куртизанок,

и стайки задиристых нимф,

цыган и цыганок вязанки,

святые, пропившие нимб,

и инок, не встретивший Бога,

торговцы, скопившие жир,

вино, несмолкаемый гогот...

Плебейское зрелище, пир...

Факторы жизни

Прошедшие мимо собаки

и сытая стая волков,
отсутствие нрава рубаки,
невзятие в войско полков,
сонливость, смирившая тягу
отправиться в тур, на парад,
где давка и вирусы, крахи
иль бешеный взрывчатый гад,
и печень, прогнавшая яды,
таблетка, унявшая боль,
и гонщик, промчавшийся рядом,
и вышедший ртом алкоголь,
отрезанный вовремя палец,

несказанный вовремя спич,
от пули закрывший вмиг старец
и мимо упавший кирпич,
врагов победившие предки,
факт, что не шахтёрим слюду,
совсем неглубокие реки
и стойкий настил на пруду,
невсходы на древние горы,
на трапы, на кран, этажи...

Мы – взрослые дети, которым
позволило что-то тут жить...

Нутро городов

Чадающие дымки заводов,
трухлявые шпалы, басы,
цементами сыплются своды,
как будто песочны часы,
каблучные гильзы, олады,
заразы бараков смердят,
зеркалья белёсых окладов,
органами трубы гудят,
из сблёва цветные лепёшки
особых (двуногих) зверей,
над кучей барачною мошки,
тождественность туш и дверей,

машины туманят горчицей,
текущие язвы дерев,
и в рытвинах блинные лица,
и птичий охрипший распев,
и запахи плесени с луком,
гнилых перегаров, сырых,
монеты заржавленных люков
и крышек златисто-пивных,
томительный бег наклоняет,
оплётки-жгуты, провода
века городок заполняют,

где платная пища, вода.

Столбы – Вавилона опоры.

Бетонно-стекольчатый лес

с двуногою фауной, флорой...

Всем правит, наверное, бес...

Движение

К работе неёмкой и скучной

бегучесть толпы в пустоту,

из коей (набитой и душной)

несутся в домов простоту.

К заботам, весельям, покою

стремится рождённый с основ.

И роль от царя до изгоя
играется цепью часов.

И стен наполняя сосуды
своим переливом из них,
всё множат обид и дел груды,
и меньше дыхательный миг.

Движенья – приливы, отливы
для творчества, дел, новостей -
стремлѐнно, забвенно, пугливо
вперѐд и назад до смертей...

Вращается кровь, помогая,
решая игры новый кон,

и в поисках очи моргают,
пока не отыщут свой сон...

Закатывание монеты

Златистый диск монеты

магнитит пласт лесов,

сводя к закату лето,

пруты и пух кустов.

Клубясь, рыжеет небо

на розовом холсте.

Чуть синь над низким хлебом.

Сникает мазь кистей.

Смолкают щебет, шорох -

сонлив любой вокруг.

И вечер так недолог.

Ржавеет сочный круг

и тучится окружье,

хмурет полотно.

Легко так иль натужно

закрыл Господь окно?

На водной глади кольца.

Луна – глазок иль лаз?

Вмиг дешевет солнце,

прохладно серебрясь.

Его богатство тает,
темнея по кайме,
и вижу вдруг хрусталик
в чернисто-хвойной тьме.

Fighter

Не просолиться, век плавая в море -
значит иметь лучше ум, чешую,
что, как бронёй, ограждают от горя
юркую рыбу в привыкшем строю.

И не попасться ловцам и акуле -
значит быть лучшею в битве, волне,
мехом гармонии распахивать скулы,
мчаться, иль прятать себя в глубине.

Свежая, жильная рыбка вкуснее,
чем горьковато-аморфная суть.

Я говорю, пузырясь, всё яснее:

"В водах и стаях отчаянным будь!"

Силы с годами намерены таять
среди одиночества, глаз и борьбы,
но пусть моя трёхсекундная память
не соизволит сей слоган забыть!

Positions

Место пустому – на свалке

(– это ж скажу про людей),

пламя – для высохших палок,

веток без пышных теней.

Место девицам – в борделях,

низколетающим – в сачке,

слабым и мёртвым – на мелях,

глупым – на голом крючке.

Хоть дик, порочен, прожорлив,

в ад человеку нельзя.

Жариться диким обжорой -

это животных стезя.

В зимах не водятся грозы.

Каждому – время и час.

Хоть и цветок жив в навозе,

пчёлы к нему не летят.

Сделаны планы и схемы.

Лодки для рек, не небес.

Всё для работы системы.

Каждому – мера и взвес.

Выверен образ, зазоры,

розданы роли и срок.

Фауне, камню и флоре

нужен полезнейший прок.

Служат детали удобству.

Старым не место в строю.

В той ли позиции, свойстве

я в этом мире стою?!

Частицы песен

Твори рыжей щепкой звучанья,

все души пронзающий звук,

и с чёлки стряхнувши скучанья,

гони хладь от ищущих рук.

Пусть рифмокружение завьётся

пуховою выюгой, дождём,

и каждая нить изойдётся

мелодией ночью и днём.

Пусть падают буквы на крыши,

как градинки, искры огней.

Пусть замерший город услышит

творенье живое во тьме!

Пусть каждо-упавшие ноты

весною ростками взойдут,

а улицы, люди, высоты

всепышно, цветно расцветут.

Услышавших выдохнут лица,

взметелит пыльцою мотив,

что будет извечно плодиться

сезонам, беде супротив...

Кире Покровской

Обрушения

Однажды всё падёт:

империи и семьи,

и полюсный весь лёд,

берёзовые серьги,

приверженцы добра

и бусины в колосьях,

со стен дырявых бра

и гроб с сырых полозьев,

все связи и мосты,

дома, хребты в поклонах,

ведь рухнули, застыв,

столбищи Вавилона;

и канет дружба вниз,

все свадебные клятвы,

царей, деревьев жизнь,

что были ненаглядны;

и память, боль, мечты,

все идолы, лавины

и звёзды, я и ты,

герой, мулла, равнины,

терпение вдовы...

Голодным, алчным мало.

Зам. Бога по любви

однажды так распяли...

Похожесть

И вектором мечтаний,

раздачей чувств, тепла

без алчности, метаний,

желаньем чуда, благ,

чтоб ярче труд вершился,

чтоб грусть была мертва,

чтоб саван нам не шился,

и им была листва,

чтоб не было тут в рясах,
коронах, латах всех,
чтоб кости, дух и мясо
без боли жили век,
чтоб был покой Эдема
и дружба фаун, флор,
объятья душ и дермы,
рост трав, умов и гор,
чтоб в водах жили рыбы,
чтоб конь был сыт овсом,
и чтоб пустели дыбы,
и грёзой про всё-всё,

отметками на коже,
что в нас любовь и лень
с тобою мы похожи,
как гиацинт, сирень.

Почва

Привалена тяжестью зданий.

Не дали ей вволю рожать

и чувствовать деток касанья.

Под пашней закатанной мать.

Не может погреться на солнце.

Потливо в каракуле спит,

как старо-морщинные горцы,

что в чёрное небо глядит,
в котором не птицы, а черви,
и корни, совсем не лучи,
и рядом гудящие нервы
железных туннелей, мячи,
как будто её схоронили
с игрушками, выстроив речь,
святым фараоном среди пыли,
от зла чтоб, копаний сберечь.

Порою она ль громыхает,
вздуваясь, взрываясь водой,

провалами вниз опадает

распад её трупa, с бедой?

Не стала не лугом, не лесом,

не ест её деточек тля.

Накрыта асфальтовым прессом

погибшая год уж земля...

Ночник

Светильник – радуга ночная,

луна, фонарик на стене,

где штамп лианы, не качаясь,

мечтает снова о весне,

визитах бабочек и змейках

и о прилётах певчих птах,
но накормить их не сумеет
рисунком зёрен днём, впотьмах.

Застывший образ всё бледнеет,
не вянет, как и не растёт,
и хоть зимой чуть леденеет,
но жив, всегда в тиши цветёт.

Он выгорает чуть от солнца,
и полоса блестит от рук,
что трут в опоре об суконце,
запечатлев клоненье мук.

Стена – обман природы гадкий.

Коль гладь задвигает стебельком,
то разойдутся швы и кладка,
то человеческий рухнет дом.

И оттого всё здесь смиренно,
без ароматных веток, чар.

Среди эдемских кущ извенно
однажды выйдет в холод пар...

Овуляция

Сомкнусь с тобой в касанье,

ведь ты меня ждала...

Двух жаждущих свиданье,

слиянье, вар тепла.

Вершится акт творенья
среди вселенских тем -
мельчайший миг внедренья,
труда, любви двух дерм,
двух душ пришедших к чуду,
нашедших счастье, жар
и лоно как посуду
для спайки генных чар.

Мы будем в вязком поле
ваять наш дом, узлы.

Мы выделим любви,
чтоб к нам не заползли

хвосты, что также пели,

как я. Сторонних бель.

Не давши повод, щели

для вражьих сплетен, дел,

срастёмся общей ношей,

родимся, свет даря,

создав из влаги, крошек

героя, мать, царя...

Лица зверей

Мы все – животных лица

с повадкой кур и птиц,

свиной, макак, лисицы,

удагов, львов, куниц,

собак, лишённых леса,

свободных, злых волков,

и козье-рьяных бесов,

с именем лап, клыков,

подковами иль клювом,

с природнейшим нутром.

Живём чутьём, по буквам

одни, вдвоём, гуртом.

Средь пастбищ, нор гуляем

меж гнёзд и старым пнём,

и тех, кто дробь пуляет

и точит нож, копьё,

капкан и сеть готовит

чешуйным, шерстяным.

Для клеток, кухонь ловят.

Всё то – удел земных.

Машонце

Светлистая, ясный подарок,

воздушнее плавных лучей,

спелейшее диво нектара,

что рушит смолистость ночей.

Дарящее тёплость живую.

Порою, нагревшись, лучусь.

Мечтаю под ним и бытую,

и ночи совсем не боюсь.

Искомый союз, единение

в потоках хрустящей зимы.

Теряюсь, творя омовенье

под светом святой бахромы.

А лучики – сок мандаринов,

летающий бесцветно на нас,

деревья, детей, исполинов,

на реки, сподвижников каст.

Без усталости льёт благодати

простейший, всеумственный шар,
чьё даже молчание кстати,
чей щедр раскидистый дар,
чья милая, сладкая нежность
вживается в горы и мех,
чья светлость живёт безмятежно
под плёнкой прикрывшихся век.

Просвириной Маше

Оборотни

Порою живёшь и не знаешь,
кто рядом в избушке такой,

а голову вскинешь, чуть влаешь,

тогда их изведешь вой,

и рыки, плеванья невежды,

молчащие будто века.

Которые блеяли прежде -

теперь отгрызают бока.

Иль снимут привычные шкуры,

все когти, клыки обнажат,

и роли Незнайки и Дуры

откинут, орлами вскружат.

Иль стоит покинуть болото

полётом иль даже ползком -
ощиплют крылатые, проглотят,
измажут наветным мазком.

Изведаешь ругань и плети
от ранее скромных, святых.

Добыча, стремящая к свету,
отвратней забот, тем любых.

Гниющие перья вырастают
в покровы и кости, сердца...

И коли птенцы не взлетают,
пингвинится воля борца...

Свобода – есть раны и пробы.

Познаешь паденье ль успех.

Послушать – остаться в холопах,

сбежать – то отречься от всех...

Мартовский дождь

Ах, волны, ряби крыши,

фонарь моргает в сад!

Грудина влагой дышит,

которой полон март.

Снега весенне тают,

что дым впитали, грязь.

Собаки броско лают,

смотря в заборный лаз.

И струйки вниз сбегают
травинками в степях.

Ручьи, что вниз стекают,
вобрали снег в себя,

все крошки, смех и драмы,

следы, клевки пичуг...

Зимы минувшей память

впитать сейчас хочу:

всю радость, кинотеку

из кадров лиц, машин,

как гены, сок молекул

собрать в кувшин души.

Они, как буквы, ноты,

войдут в дух налегке.

Чтоб миру дать красоты,

смешаю их в прыжке.

И позже выдам песню

под струны, шум мехов,

и выкричусь я вестью,

коктейлями стихов.

Пока ж я под навесом

на брызги тьмы смотрю,

по-детски с интересом

с карниза капли пью...

Rhythms of Moscow

Оконных пикселей сиянья.

И мчатся прытью на обгон

в условном гоночном скитаньи

сердца и нервы в новый кон.

Дуэли тел, умов всеместны.

И старт покрышками изрыт.

Сегодня первый и известный,

а завтра – загнан и забыт.

Невидный финиш, суть награды!

Но испытать судьбу хотят,

пройтись парчово на параде
блатные выводки ребят.

Отмахи флагов или выстрел
дадут к забегу знак, сигнал,
и понесутся резво мысли,
бездумья, жажда финал.

Лягаясь, требуя дороги,
сбиваясь в кучу в толчее,
срезая шины, дверь, пороги,
держась за хлястики вещей.

Герои ралли, общей своры,
не видя зайца, путь, костей,

несутся вдаль, снося опоры
и всех соперников, гостей.

На сей животный гон, сминанья
и вопли, драки, хруст и шум
я без клыкастого сверканья
безного, каменно гляжу...

Гуляка

Смахнув, сцарапав грусть
мочалкой, щёткой, камнем,
ночную липкость уз,
хочу стать прежним парнем,
без тяги ранних нош,

эмоций от занятий,
амбре девичьих кож,
частиц былых объятий,
и пота от работ,
и брызг воды шампанской.
Отмыться б от блевот,
пинков, продажной ласки,
найти б мошну, ключи,
отчистить грязь с ботинок,
внедрить в глаза лучи,
забыть кабак, блондинок,

защитить торчащий клок,
прибить каблук от танцев,
и сжечь блокнотов слог,
зелёнкой смазать пальцы,
отдраить душу, стать,
как фрак для юбиляра,
и в новом дне предстать
предельным экземпляром.

Дворовая галерея

Висят прищепки-бусы,
кушая чуть бельё,
и держат парус русый,
иных вещей сырьё.

Промеж стволов обоих

протянут вялый трос.

Виднеются пробои

от пушек или гроз

в пододеяльной глади.

Раскрытый крест рубах,

листы цветочный клади

зажаты в их губах

цветных, местами серых,

их не пуская вниз.

Весь ряд узорный, целый

колышут ветер, бриз.

Развес картин прекрасен

от детских до кривых

и ветхих, но вот глазу

приятных и живых,

несущих штамп историй,

и близких испокон...

Порою путь к ним торю,

даря смешок, поклон.

За парусом куст розы,

полотна галерей...

Корабль их привозит

однажды в тройку дней.

Alcoman

Открыта пробка и глотками

вливаешь вкусность в рот скорей.

И вот уж злость цветёт ростками,

и рвутся звенья дум, цепей.

Спадает мрак, тоска, намордник,

выходит такт из умных фраз.

И вот уж ты греха поборник,

десяток радуг в паре глаз

сияют плавно, цвет сменяя,

парует дух забавы для.

И вот уж ты – тварь нескупая,
живая бабочка, не тля.

Яд растворяет вмиг смущенье,
лишая совести и сна.

И вот уж ты несёшь лишенья
округе, людям в жаре зла...

Потешный сын, боец, философ
на новой маске лишь на миг.

Наутро бел, в вонючей позе
лежишь, смеша, пугая мир...

Заполнительница дыр

Признаньем новым дышишь,

налившись вновь вином,
от одиночеств пышешь,
твердишь: "Они виной".

Манишь стихом, свободой,
ища путь обходной,
и вновь в хоромы входит
зверёк очередной.

Полна страстями в деле,
глотаешь брызги, муть,
лежишь под их обстрелом,
подставив спину, грудь.

Потом, как не бывало,

ты пьёшь, вещаешь вдаль

про истинное право

на счастье, про медаль

за рифмы, фильмы, цели...

Хоть фразы умно льют,

но пресный пластик тела,

обманность выдают.

...В поту супружье ложе.

Сникаешь, всласть стоня.

Он тоже будет брошен,

как восемь до меня...

Елене Л.

Ветераны труда

Глядят усталой вспашкой

морщины, тянут вес.

Их лики, как мордашки

бульдогов, пекинесов.

Казённый труд калечит

и просит потерпеть,

использовав, прочь мечет,

оставив вмиг тебе

заброшенность и хвори,

всю старость в полноте.

Владельцы поля, доли

найдут недряхлость тел,

что будут рады месту

и крохам, не просить

блюсти права и чести,

от дел не голосить.

Пахать беспечно будут

и жить из года в год,

мечтать, сиять покуда

морщинки первый всход

внезапно не проклонет

их гладкий быт и жизнь,

чья тяжесть возраст юный

начнёт клоненье вниз...

Деревенский пожар

Икра там чернеется, жир?

А лунный фарфор схолодевший,

как соусник. Щедрый трактир.

Уснул сторож пёс непоевшим.

Хоть чёрные зёрна вверху

разбросаны кем-то нежадным,

в последнем сидим мы меху,

рукой не достать. Всё неладно...

На небе раскидистый пир,
и вилкой древесные дуги
всё тянутся к россыпям жил...

Иль это мираж всё и слухи?

В горелой округе разбой
и сумасводящие краски,
и волчий голодный всевой,
и рыщут злодейские маски

оплавленный жаром металл
свинца и порой золотишко.

А в избах огромный прогал

и голые печи, парнишки

без родичей, вши в голове,

ожоги, волдырные гроздя.

Как угли в осенней траве,

горят керамически звёзды.

Какой же застолий тех вес?

С какими изысками плошки?

Но ждём мы желанно с небес

хотя бы отбулочной крошки...

Глобальное потепление

Опять аномалит зима,

лучами согрелся подснежник,

решили бутон рассинять
пролески, и даже валежник

решился коренья пустить
и сочные почки проклюнуть,
а бабки, закончив грустить,
решили сигарами дунуть,

а дети сложили свой вес
в постели, тоске поддаваясь,
собаки завыли на лес,

а волки запрыгали, лаясь,
пошли жизнелюбы к крюкам,
а лисы к сараям стянулись,

идут к человеческим рукам,
и шире зрачки их надулись,
а овцы срывают свой мех,
а, зубрами вдруг возомнившись,
коровы жуют белый снег,
ролей отприродных лишившись,
а рыбы, взострив плавники,
копают то ямь, то туннели,
и равенств хотят сорники,
травинкою вздумались ели,
желают взлететь прусаки,

аж прыгают дико с порога,
а птицы, что небу близки,
в решётки домашних острогов,
герои в подвалы ушли,
все трусы вдруг стали парадны,
драконом хотят быть ужи,
лишь кошки космически ладны...

В тихом омуте

Поб*ядывал и пил,
картёжничал, куражил,
пьянчуг и дев лупил,
ленился и шабашил,

и громче песнь тянул,
укоры вслед не слушал,
и в мат упомянул
господ, гвардейцев, лужи,
с глупцами речь водил,
вопил грозой и громом,
громил больших громил,
залившись тяжко ромом,
оплаты дал счетам,
поверх вручив любому,
ступеньки в дом считал,
уснул, дав бой спиртному.

Всё помню с болью дум,
цежу из кружки млеко,
поправив бейдж, костюм,
в тиши библиотеки.

Шаг в былое

Пуста изба родная,
трава пронзила пол,
и крыша чуть сырая,
сжевала плесень стол,
загнутья рам простые,
а пыль в треть этажей,
и брёвна стен косые -

пенал карандашей.

Свернулось краем фото,

где мать-жена с отцом.

В груди сщемилось что-то,

смотря на их лицо.

Затёрты дверь, циновка,

гвоздь согнут под плащом,

как альпиниста, ловко

спасает надо рвом.

Как гроб сии палаты.

Не ведал дом невест.

Не хочет в этой хате

селиться даже бес.

Остыли дух, посуда,
луч хладен на штанах...

И мне пора отсюда
нести неладный шаг...

Завесы, окон крестья
могилят гостя, свет.

Былое – значит места
ему в живущих нет...

Набожница

Натёртыш от молитвы
терзает плечи, лоб.

Язык острее бритвы
к неверящим. Как столб,
к вину и искушеньям.
В почёте хлеб да соль.
За грехоискупленье.
Колени жжёт мозоль.
С пороком не знакома,
чей рой кишит вокруг
и ест мир, как саркома.
Иисус – один твой друг.
Подол метёт дорогу.

Смеётся детвора.

Мужчина на пороге

век не был у тебя.

В глазах домов и люда

юродива, глупа.

Среди витринной груды

твоя еда – крупа

и буквы божьей книги.

Несёшь улыбку в мир.

Аскетница меж лиха.

Ты нынче мой кумир,

хоть Бог вещал иначе

про идолов, богов,
загробье, грех и сдачи.

Ты – суть и плоть его.

Лесное происшествие

Горит шатёр небесный

в июльско-странной мгле,

молча у гор отвесных

на елистой траве.

Сияет жарко пламя,

палит блеск огоньков

и вьётся, будто знамя,

дым туч и облаков.

Темнеет рвано крыша
и старых скал стога,
и жухнут в охре рыжей
сосновых пик луга.

Глядят на действие звери,
на ветках птичий вес.

Им хочется так верить,
что вышли люди в лес,
что ту палатку свили...

И кто всему виной:
злодей, лучи светила,
чертёнок, искра, зной?!

Природы сникнет горе,

подплавив донца гнёзд.

Пожар утихнет вскоре,

раскинув угли звёзд

и лунный диск тарелки,

остывший с красноты...

Глядим на прах наш едкий

с небес сын, я и ты...

Поиски великого смысла

Съедобный ком заталкивая в пасть,

лишая власти голод и печали,

усталый пёс, представив будто всласть

жуёт филе, в мечтах живых качаясь.

Плевков улитки в грязь ведёт свой путь,
который птица хочет клювом срезать,
паук плетёт белёсо-злую круть,
что дрожью призрака в кустах сих повесил.

Порядок там. Один лишь бьётся зверь,
неугомонно ищет, странствуя, двуногий,
и хоть нутром на них похожий всем,
но спорит век о смысле яро, строго.

Лишь он один безделен и смешон,
трусами разными себя порой забавит.

Но сути истинной богами был лишён,
и оттого с собой, иным совсем не ладит,

и лезет в мир умелых фаун, флор,

тиранит их, клепая дом за домом,

одежду, крест, стирая сетки пор,

и рушит горы, травы, древа ломом,

и ищет воздух, тайны, веру, свет,

хотя луна и солнце век сияют.

На протяжении траурности лет

всё тратит силы, и они сникают.

Для рек и вод важнее берег, даль,

и тьма – в ночи и днём открытым векам.

Среди так многого, и это очень жаль,
нет радости и смысла богочеловеку.

Книгочтение

Варенье из тысячи брюкв,
с красивым и сладким осадком,
не слаже скопления букв,
где божьей ладонью закладка.

Обложки шершавая сеть,
как марля потёртая раньше,
продолжив ветвисто стареть,
касается сеток держащих.

Забвенья волшебный процесс,

падение в чужие глубины,
где видится собственный бес
и личное чудо меж тины,
поднятье на высь ста идей.

Ах, веер страничек волшебный!

Подвал с разносолом затей,
тюрьма или замок душевный -
сей слиток и том, фолиант,
вещающий голосом мёртвых.

Сияю и гасну с ним в такт,
ругая в нём тёмных и чёрствых,
хвалю и роднюсь, и горжусь,

что лично с ним нынче знакомый,
и другом на время сгожусь
ему, неживому, искомо...

Вкушаю я блюдо из слов,
кофейно-дегтярную жидкость,
питаюсь сходящей с основ
великого автора милость...

Родительская спальня

Открыта дверца саркофага,
где двое спят в сухой тиши,
не зная шума, воли, страха,
среди зашторенной глуши.

Сопят под личным одеялом
в коробке, где привычно всё,
две старой жизни с думой вялой,
прижаты к низу, как лассо
сонливым, в акте примиренья.

Виной – усталость, боль в спине.

По завершению слов, кормленья
в раю тенистом, на траве

простынки, как Адам и Ева,
солдат, что миром, чем войной
побит сильней, супруга дева,
слились с бельём всей сединой,

под люстрой, что склонила главы,
тремя бутонами пылясь,
на низ глядит, немного вправо,
увяв без влаги, приживясь.

А шкаф-смотритель неусыпный,
на стул с рубашкой опершись,
пузато, дверцею не скрипнув,
блюдёт спокойный сон и жизнь.

Питание земли

От солнца, умерших, не каюсь,
тепло забирает земля,
и греется ими, питаюсь,

как люди едою, как я.

И крутит их кожу и мясо
песчинками, тьмой жерновов
раба и носителя рясы,
красавиц, собак и ослов...

Их чин для неё одинаков,
и, впрочем, одежд в узреть
среди черновищи и лака,
и тканей, чья участь – истлеть.

Их лики на вид не святые,
богатство осталось вверху.

Взяв гнили сырые, густые,
варганит и пенит в цеху
замену, себе пополненье,
добавив крупинок, корней,
без спешки, огня и волненья -
привычно, да так и верней.

И капли, червей собирая
в древесный сырой котелок,
который костями подпирает,
чтоб сильно не вылился сок.

Смешает, черпнёт то без стука,
и выпьет, нутром всё вберёт,

впитает молчания, звуки...

Так мёртвая вечно живёт.

Несвоевременное вдохновение

Сгорают, гибнут мысли,

строками вширь чажу,

и оттого взор кислый,

округу не щажу,

в обиде, зле, как туча,

среди пепла в этот час,

что нет листка и ручки,

что их спасли б сейчас,

как скальпель и ватина,

как средство из иглы,
как доктор у скотины,
родиться б помогли.

И вот лежат осадком
и трупно, жгут нутро...

Вином, быть может, сладким
иль горькою бурдой

их вытравлю наружу,
дам шанс ожить и жить.

Влюбиться, может лучше?

Иль напроць рот зашить?

Чтоб всё, сгноясь, истлело,

и зёрна новых дней

взошли, корнясь, запели,

как рост из старых пней...

Пока же грусть потери

хандрит средь пустоты,

не хочет дух мой дела

и сна, и красоты...

Мозгоебовь

Она, как в сердце пуля

любого кто живёт,

течёт по венам-дулу,

вонзаясь, резко жжёт

и ноет, отцепившись,
опять бежит, стремясь,
и вновь стреляет, впившись,
в аорту входит, жмясь.

В великом, слабом, злобном
моторе жив комок.

Поток нарушен ровный.

У боли разный срок.

Терзает мышцу, душу

и ум, и выдох, вдох,

чуть радуется, нарушив

привычной жизни ток.

Однажды встанет робко,

застрявши между сот,

ржавеющей заклёпкой

однажды всё убьёт...

Погибание

Черствеем, как корка деревьев,

рыхлеем песками степей,

и всех заражаем стареньем,

лишаясь кудрявых теней,

как кожище куртки, грубеем,

и дрябнет подкладка, покров,

скудеем, берёзы дубеют,
ссыхается жильный остов.

Водою, вином или мазью
продляем сбавляемый ход,
буксуя на луже, над грязью.

Нам корни и стволья жуёт,
и точит живущие ветки,
и крону, дупло паразит.

Венозные, нервные сетки
вдруг вянут, заторив транзит.

Однажды мы рухнем трухляво,
нас спилят иль кинут в ведро,

пока же по тропам петляем
и ищем что выпить нутром...

Интернат

Тут стены хозяйственно давят
на драных и робких сирот.

Тут труд, послушание славят,
закрытый, неscalимый рот.

Тут воинский строй и порядок,
и сытость от корки одной.

Тут ровность прополотых грядок,
нет веры, кровинки родной.

Тут лишь одиночество, сила

способствуют жизни в боях.

Тут вечно натянуты жилы,

опасности ждут, впопыхах.

Тут сложены камни по рангу,

и юные спины в поту.

Тут ложки подобные штанге

в голодном, занятом быту.

Тут в души впитались пылинки

обид, что твердеют в груди.

Тут дети, как ветки, былинки,

к которым безводны, круты.

Тут старый режим, как и стены,

цыплята без кальция, мам.

Тут лезут во щель перемены,

но мажут зазоры меж рам.

Тут старые куры дорвотны,

клюют пух, мешая им петь.

Тут будет однажды свободно,

но птицы не смогут взлететь...

Мамино село

Мой дом на краешке села,

варенье, лакомые сушки,

крапива только отцвела,

вьёт чайный пар из белой кружки,

из коей, юным молоком
цедил, согрев во тьме на печке,
у губ чернелся ободок,
их обжигая чуть извечно.

Штакетник малый, скромный быт,
две колеи, угли-малинки
в костре зелёном, что горит,
в логу ручей, прудок, лозинки,
животных рой, лет акварель,
и за забором стул, колодец,
цыплят лимонная свирель,

в гостях любой народ, народец,

бугор, где линия, как рот,

видать, военная траншея,

что заросла травой бород,

и ветерки добрейше веют,

добротна живность, рейсы пчёл,

в сарае серо-щельном сено,

порфирный дом и шифер-смоль,

и синь веранды, куст сирени,

в саду прохлада, груш капель,

со ржавой бочки пот стекает.

Прошла лет малых карусель,

и чуб свет-русый поникает.

Ах, подпечённый чашки край,

откуда хлеб румян к обеду...

Я помню этот детский рай.

Теперь я в нём, без бабки, деда...

Сексофильм

Опять с пребанальным сюжетом

соитье. Смотрю в монитор:

там стоны голышек, минеты

и член исторгают раствор.

А этим героям учиться б

и книги читать, и рожать,

но снова искусственны лица
продолжат средь камер дрожать.

Ведь это же дочери чьи-то,
а в будущем – мать и жена,
но нынче влажны и подбриты,
плоть похотью заражена.

Картинные стоны, движенья
на ранних и поздних порах.

По Библии лишь нарушенья,
морально-физический крах.

Да, зависть – порочное чувство,

в каком быть совсем не хочу.

Ведь в жизни печально и пусто,

поэтому выход – вздрочнуть...

Отщепенец

Живу без оград, колеи,

неведомы люди и слухи,

без церкви, чинов, толчеи.

Как Бог я на этой округе.

Без слуг обитаю в лесу,

дружимый со зверем и птицей.

В жар воду растениям несу.

Отменнейше в хижине спится,

в несложной и тихой, сухой.

Озёрно светла панорама.

И тут в отщепенстве глухом

не жалко побега ни грамма.

Пусть носик свой точит комар,

животные где-то блуждают,

тут истинно-праведный дар,

жаль, люди, счерствед, отрицают.

Не надобно денег и благ.

Лечусь я отварами, светом.

Свободен, Адамово наг.

Пусть это и кажется бредом.

Не надо двуногих, машин,
что ранят в открытую, сбоку,
обливши всеядьями лжи...

Без Вас только мне одиноко...

Сын. Антипримеры

Я их поцелуев не видел
и игр (любовных, иных),
как он со щеки б её вытер
скопление крошек сухих,
и вальса, гормонов весенних,
январских объятий в ночи,
и слов ободряющих, ценных,

и ужин под кроной свечи,

за руку гуляющей парой,

вожных поездок накал,

сияющих счастьем янтарно,

двухспальных надежд, одеял,

гостей из числа чужеродных

в достаточном вещью дому,

от страсти горячих и потных,

читающих, склонных к письму...

Лишь ведал их пленность и сытость,

рык, сонность, поток укоризн,

безвыездно-костную бытность,

без ласки спартанскую жизнь.

Смотрящий Бог

Вас вижу портретами в рамах,

биноклями каждых очей,

иконами в доме и храмах,

и дулами, в щель кирпичей,

и взглядами рыб неустанно,

что в водный глядят окуляр

прудов, луж, озёр, океанов,

экранами, стёклами фар,

и небом (прибор лаборанта),

и птицей, картиной с быком,

глазками часов и курантов,
и фото умерших, волков,
и линзой машин и оконцев,
и чучелом, куклой гляжу,
с фонариком лунным и солнцем
за кельей, раздольем слежу...

Вид камерой всех телефонов
и мордой домашних зверьков
за бодрым, раздетым и сонным.

Я всюду! Во взорах жуков...

Побитая душа

Как короб от баяна,

без клавиш, нот, мехов,

душа глупца, буяна,

без смысла, потрохов -

бессочная, пустая,

с подкладкой чуть гнилой,

и пресно-негустая,

с защёлкою кривой

и ржавыми петлями.

В нутро не входит свет.

Гудит от ветра днями.

В нём инструмента нет.

Дырявый. Кожу сморщил.

Без бирки. Чей он есть?

Кто мастер-изготовщик?

С какого года честь?

Из формы манекена,
что сплавился, сгорев,
отлит в куб в новой смене,
где кислый воздух спрел.

И так живёт личина
ненужной простотой,
без смысла и причины,
наполнен пустотой...

Пенал пинали этот

детиски, гром, актёр.

Наверно, лучший метод -

принять на свалке мор...

Карантин

Покрасив крошки чёрным,

я ем, хрустя, икру,

читаю книги мёртвых,

забыв живых игру,

борюсь с животной ленью

прогулкой до дверей,

как кошка, мчусь за тенью,

учусь речам зверей,

почти забыв людские.

Ах, заперт мой острог!

И вижу ясно Змия,

что манит за порог.

Питаю злость бездельем.

И вместо пальцев лом.

Стекло и стены кельи

в мечтах тараню лбом.

И вянут крылья. Душно.

Ведь нужен я пыльце!

Без песен миру скучно.

Я – шарик в бубенце.

Душа без чувств и пищи,

и свежих нот, питья.

То – испытанье нищим,

рок, казнь, епитимья?

Жую запас от дури,

уж псом рыча на мир,

пою, как чайка, туры.

Испив густой чифир,

курнув, гляжу туземно

во тьму-глазурь, сырок.

Тяну, почти тюремный,
квартирный долгий срок...

Пирамидка

Судьба – цветная пирамидка:

центральный шест, земельный низ,

широкой первою накидкой

из бессознания белый диск.

Желтеет дальше мило детство,

вверх юность розово цветёт,

а зелень – молодость в эстетстве,

синееет взрослость. Высь растёт.

На столбик следующим слоем

ложится старость серо, вкривь.

Великий фатум и надстрои.

Порой нанизан цвет иль три...

Спаялись радужные вспышки

из лет, событий, бед и проб.

Венчает стела чёрной крышкой,

под коей малый красный гроб...

Пропойца

Пивною пробкою медаль

за мысли, крупные испитья,

за то, что дальше всех блевал,

за бой кулачный, тел избитья,

измены, крики, грязный гул...

Ты похмелялся, отняв соску!

Пропиты в зиму свечка, стул,
ребёнка плед, жены расчёска.

Бутылок гул, как гор парад.

Вино с обеда до обеда.

А у других пучок наград

за книги, песни и победы.

Твои ж в мешок, снести в утиль.

И нет истории сей хуже.

Как будто вовсе ты не жил,

топился в красках, умер в луже...

Космический мастер

Иглою меж пуговиц цветастых,
вдоль пашни ткани путь ведёт,
цепляет звёзды неопасно -
Господь рубашку тихо шьёт.

И блёстки холодно сияют.

Покрой изящен, статен рост.

Чуть неумело пришивает,
немного шарики вразброс.

Он чинит дыры и подкладку,
и астероидом жарким прям
просторы гладит и подмятки,
готовясь к рауту и дням.

С улыбкой, битою ль щекою,
рукой дрожащей мастерит
пошитый фрак, мечтой влекомый,
что в лучше эру воспарит,
войдёт в великий зал, богатый
из туч и мрака тысяч лет,
в цветочный холл и сад лохматый,
плодовый, ласковый, без бед.
Желает в новый век, наверно,
из эры худшей, рвущей прочь,
а вместо бабочки нашейной

пылает солнце, крася ночь.

Воинские похороны

Земля по крышкам пала -

звук клавиш пианино

среди кладбищного зала

и труб, кустов, осины.

Три выстрела конвоя -

столетний ритуал.

Все почести героям

сам Боже бы воздал!

Плечом к плечу в траншее,

как прежде, и родны.

Цветы оранжереи,
что ныне все мертвы.

Печально залпы дали -
для них последний град.

Пускай внизу медали,
как звёзды, им горят...

Василёк

С добрейшим Машутром, цветочек,
уютных ночей светлячок!

Медальки прекраснейших мочек
сияют с серьговым пучком.

Светилом ясней поднимайся,

пространство собой озаряй,
и счастье творить принимайся,
мечтами, добром засоряй

все взоры, смотрящие грустно

иль вовсе незнавшие сна;

мелодией лейся искусно!

Ты, будто живая весна!

Танцуя в пижамном убранстве,

отпив мёд, цветочковый чай,

войди в мир таблеткой, лекарством,

лечи его, свет излучай,

и радуй печальные лица

улыбкой, чтоб лёд растопить,
цветы и живы озорницей,
какую хотят все любить!

Просвириной Маше

Гламурная болезнь

Вколите мне в губы резину,
желаю бровей татуаж,
из стружки причёску-корзину,
пейзажный, крутой макияж,
моднейших одежд и вещичек,
бутылку вір-вір коньячка,

вполне человеческой пищи,
массаж и шугаринг сучка,
и плавать расслабленно в море,
ныряя за жемчугом днём.

Намажьте на коже декоры
и мушку забейте гвоздём.

Всё это ведь есть у Мальвины!

Кипит аж бревенчатый пыл.

Червяк в голове Буратино

сожрал ум, который чуть был.

Желающий покоя

Дайте, китайцы, покоя,

люди народностей, рас!

Я в мавзолейском покрое

вволю наслушался вас,

вздохов, речей бестолковых.

Взгляды век чешут стекло,

что аж зудят небелково

глаз позакрытых окно.

Будто в окованном трансе,

смирно, без чувства лежу,

но вот внутри так опасно

нервы искрят, и молчу.

Как муравьи над добычей,
стая шакалов, волков,
и вереницею птичьей -
долг и обычай веков!

Коль и схоронят с отпевкой,
тело изведает мреть,
черви, кроты и медведки,
знаю, придут посмотреть...

Sondercommando

Горит чурак телесный,
доел костёр губу,
шкворча тяжеловесно,
летя дымком в трубу.

Коптят носилки, стенки

чуть бледные дрова.

В четыре пересменки

вершат рабы дела

в угоду чёрту, бесам.

Творятся пал и мор.

Печными углем, лесом

стал шапочник, актёр

и жёны их – штакеты.

Дым хлопьями из труб.

И даже щепки-дети

в пылающем жару.

От пламени и крови

краснеет дверь, кирпич.

В весельи адском брови

заказчиков, чей спич

ехидно, зло сверкает

клыками в свете, тьме.

Вертеп злой не сникает.

Гарь, акты, как во сне,

по воле слов, декретов.

Я – раб, что должен жечь.

И коль дотлеют эти,

то мной заполняют печь...

Черепки – 3

Монеты, скоплённые детством

от сдачи бутылочных тар,

вмиг отняты были посредством

родивших. Бьют слёзы и жар.

За общим столом тишина

как форма семейного счастья?

Нет, то – безразличья волна

и первоначенье ненастий.

Гляжу на улицу, не видя счастья дома,
и собираю блик улыбок, краски в ларь.

И век живёт внутри эмоций кома.

Но за окном всё те же мусор, хмарь.

Сорок три позы меж дней
влажно и жарко балуют...

Но лишь одна всех важней,
где тебя просто целую...

– Давленье сто сорок на сто
и мутность в седой голове...

– Идёшь ты к обеду, иль что?

Купить одну лампочку, две?

Высоковольтный провод

зубами, крик дитят.

Курю, пивной бью рокот

с другими. Яжемать...

Одной пузырь-обуза,

что был послушен, тих,
созрев, истёк из пуза,
теперь груз для двоих...

Не в дни веселия, а страха,
чумы, горенья душ и пихт,
в период войн, тоски и краха
мною был написан лучший стих!

На ключ берлогу, в уши пробки,
под бок бочонок, самосад,

и для спокойствия, страховки,
от муравьёв – початок в зад.

Я много видел дел, приколов,
несправедливости, но так -
нет прилагательных, глаголов
у слова "хна" – обидный факт.

Часы ломаются – не вечны.
Застынет время и ход лет.
Иль коли их побьём увечно,

то перестанем все стареть...

Мир называя корявым и гадким,
что отзывается в каждой судьбе,
чьи расшатались фундамент и кладка,
часто мы меряем всё по себе.

Бывают боль и грусть итогом
от ласки, лишним Бог, родня.
В пылу любви сгорает много
от чересчурного огня...

Шарики

Зелёный, красный шарик,

а между – целый ярд.

Фонарь над тканью жарит.

Весь вид – почти бильярд.

Живут, вращаясь, стоя,

сверкают, ждут тычка.

Сукно в преддверьи боя

с боков иль свысока.

Вокруг святое действо.

Парю, как Бог. Миры!

Как избран для сужейства

на тихий акт игры.

Так грустно, одиноко

шнуром прицеплен я

стеклянно и дуооко

вишу, на них смотря.

Тут ширь и звёздь резная.

Сюда ль придёт душа?

И бабочка стальная

мигает шнур держа...

Камедь

Янтарный желвак иль застывший сироп

из дерева вытек, смолою замёрз.

Он полз, чтоб коснуться зелёнистых сдоб,
бутонов волшебю раскрывшихся роз.

Пузатая капля. Неюлгий поход.

Подтёком сияет в лучистом гореньи.

Проторил кротом он кору и свой ход,

направил себя по тропе избавления

от плена древесного, тверди и тьмы.

Лишь греются кожа и листья с плодами.

И он возжелал посмотреть в эти дни,

и вырвался лавой, простившись с годами

незнанья и мрака, спокойной тоски,

в годах исполнения чёткого долга,
густого течения... Пробил он куски
и щели, снаружи ища ли свет, Бога.

Законы нарушил, тюрьму распахнул,
нарывом застыл на коричневой коже,
но всё же увидел, влюбился, вздохнув,
и путь он закончил, едва ли чуть пожил...

Долг родителям

Обиженность ребёнка

и рёв – он детски ждал

машинки или котёнка.

Но их не обещал

никто. Но ждал отважно.

Пусть будет год не сыт,
пусть холод, мрак очажный
и дырка в дне корыт,
зато главней подарок
как данность, факт и долг.

И крик меж комнат, арок,
призыв взять требу в толк!

Похожесть с этим делом
родительская рать,
что слёзы льёт кряхтело
о свадьбах, чадах чад...

Болезнь настроения

Один портрет из страха,
из сотен мер, частиц,
и кашицу с размаха
создали зёрна лиц.

Слились в единый ужас.

Свой уник, красоту
для общей жижи, туши
отдали ум, мечту

во имя сказа, воли,
подавшись дуракам,
тискам, пинкам и вою,
кривым, сырым рукам

друг друга, портретиста.

Вся зелень, синь и желть,

и бѣль, и аметисты

спаялись в хмурость, желчь.

Кишат крикливо скупость

речей и чернь мастей.

Боязнь, испуги, глупость

вершат всю суть страстей.

Одним лицом с ехидством,

сжевав тревоги яд,

в паническом единстве

различья их глядят

на лупу телепризмы,

вкушая горький корм,

питаюсь грустью жизни

и новью жутких норм...

Необходимости

Без солнца вянут травы,

без счастья, ласки, губ

сердца и руки, главы.

Без вод твердеет сруб.

И семя, нить росточка

погибнут без дождя.

Могилой станет кочка,
не смокнув, для червя.

Без тока преют воды.

Без дел и без труда

дни, месяцы и годы

болотится мечта,

как птица без полёта,

как капли в облаках,

как мёд скисает в сотах,

как сено, корм в стогах,

как рыба в тесной луже,

как правда в злой молве,

как страсти, воля в туше,

как рифма в голове...

И также невозможно

без уст, объятных ласк

прожить в тоске подкожной

без Вас, сочнойшей Вас!

Просвириной Маше

Домашний вечер

Рыже-сиреневой ватой

небо сияет. Апрель.

Вечер печалит затратно.

Луж невысокая мель.

Трещины веток на стенах

плавно колышутся в такт,

будто бы тени на сценах,

в начатых полупотьмах.

Сизо-темнеющий сумрак

мутно цветенья накрыл

пледов, диванов и турок

медных с узорами крыл.

Грудь оголённая ищет

свежий поток из окна.

Клумбы по-прежнему нищи.

Крона на зелень бедна.

Ветер невидно вздыхает,

видя весенний момент.

Скучно глаза наблюдают

полутревожный сюжет...

Безтебятье

Будто бы хмуростный год,

гибель и транс, суховой

стопор, густой недород,

пыль или скудость идей,

томность, плевки в темноту,

ввляды в ту искру звезды

или пролаз в черноту

злой, темновой борозды,

и воздыхания ввысь,

и погруженье в стакан

или в озёрье без брызг,

или в зажитости ран,

иль искажение дум,

тьмь, каменеющий фас,

и отстраненье от сумм

дел, человеческих рас,

иль отлученье от всех

тем, приказаний и вер,

и всемученье, как грех,

бунты, отказы от мер,

иль как чума и стрельба

по вселистве и воде -

это то время, когда

я без тебя, как нигде...

Квартира стороной на запад

Всегда наблюдаю закат,

ведь окна жилища на запад.

С востока пылает раскат

светила, что плавит фасады

и сушит окрашенный стан,
этажную спину, мех сада,
что требовать дождь перестал,
смирившись с палящим раскладом.

В моей же сторонке тенёк,
прохладные бризы, мельканья,
безшторье и ламп огонёк
с неярким вечерним миганьем.

Кирпичья соседних домов,
как корка, что солнце карает,
обложки старинных томов,
что вечно рядком выгорают.

Стекляшки их жёлто горят,
мои же – оранжево-красно.

Я вижу не только закат,
но также луну очень ясно

и сумрак, туманность и ночь,
скопление углей, умиранье,
победную тёмную мощь,
что вводят меня в засыпанье.

Ответно луна, алый диск
глядят на меня с утомленьем,
склоняюще зрения вниз,

на тленье моё и старенье...

Апрельские облака

Туч хлопок клубится помято.

Лежит их осколок-мелок.

Их пышную серую вату

жуёт со столбов ветерок

и птахи кусочками щиплют

тот пух – угощенье небес.

Порою надкусано сыплют

капели и крошки на лес,

зимою ж снежком посыпают,

что после на тропах хрустят.

К закату, румянясь, сгорают.

Прям булочный пир для ребят!

Иль это густые пылинки

от мётел на синем полу

слуг божьих, седые малинки,

отщепки кусков на балу?

Но нам лишь доступны для ока

их формы, края, их сосуд,

плывущие тающе в гонке,

показе ли моды иль блюд.

Волшебный расклад гастрономий

в просторе далёких широт!

Вкушаем морганьями комья,
раскрывши от прелестей рот.

Лишь только гурманы и птицы,
чтоб голод иль власть утолить,
взлетают, а мы, подняв лица,
довольно на чудо глядим...

Отсутствие

Пылящие полки, пусты антресоли,
к тарелкам присохла вода, тишина,
и будто бы раны накушались соли,
за речи паршивые въелась вина.

Не чувствуется больше присутствия Бога.

Гудят шифоньеры от дум, сквозняков,
что, как барабаны, стоят кособоко,
и вещи кучкуются в пузах тюков.

А домик, как келья, где память (и только),
как гроб фараона, где всё есть, смотри!

Слюна, как застрявшая горькая корка.

А что за окном – пусть хоть ныне сгорит,

кремируя прежние встречи, предметы,
что могут напомнить, слёз выдавив сок.

Смотрю, составляя из прошлого сметы,
как сизо, привычно блестит потолок,

портреты пристыли к иссохшимся рамам,
прилипло к картону и стёклам лицо,
пленённое между, то фото, где мама
улыбчива рядом с суровым отцом...

И вмиг понимается – к чёрту забавы,
что ссор уж не будет и гостя с ключом,
что некого даже, как прежде поздравить,
с весенним и женским, всемартовским днём...

Видение

Вдруг вижу: из сумрака выход,
кишащий такими, как я,
без темы, желания выгод,
с идеей семьи и труда,

сады и густые травинки,
нагие тела на лугах,
цветы и нектара соринки,
и солнце в мельчайших кругах,

кленово-гречишные вкусы
и запахи, сок янтаря,
бывали, конечно, укусы,
но это случайно и зря.

И самого злейшего вижу -
дымится большой великан,
в седом балахоне он пышет,

как дышащий пеплом вулкан,

бьёт паника, ужас картечью,

туман слезоточит бойцов.

Разбойника с хриплою речью

я мутно узрел, воровство,

отсутствие сот-этажерок,

все живы, лишь странный пожар,

а после горячки и смерок

смиренье и скоконный шар.

Я кем-то взираю чуть сонно,

в прощёлки на снег и на лёд,

отбившись от кучи резонно...

Виденье, отведавши мёд...

Малиновый творог

Железным мгновеньем живу,

ныряя то в горечь, улады.

Сегодня над пашней плыву,

черпая малиновый запах

и кашицы розовый цвет.

Творожные крохи и слепки

чешуйками стали в обед,

что голодны, молоды, цепки.

Люблю я твой ротик сырой,

дарить соки, разные сласти.

Я – тихий и звонкий, живой
совочек, с кем делишься счастьем.

Я – мелкий и плотный сачок,
что любишь и блюдом балуешь,
блестящий с едой черпачок,
что тянуще, сладко целуешь.

Просвириной Маше

Страшные времена

Тут яр и нет хорошей вести,
все вирусуют, жгучий плен,
и умирает крёстный, крестник,

и гибнут живность, цепи вен,
сникают листик, мышцы, взоры
и вянут вдохи, куст, мечты,
и в биографиях позоры,
и не приходят платы, сны,
плодятся лужи, ямы, кочки,
озимь гниёт, рань не растёт,
пустые плоски, кожи, почки,
лишь плесень радужно цветёт,
и птицы жрут брюхатых слизней,
и самка каждая больна,

и нет рожденья новых жизней,

лишь смерть орудует сполна,

угасли рифмы, печи, искры

и умер труд, мрёт озерко,

под прессом всем живётся низко,

и в тёлках скисло молоко,

сыры дома и к ним подходы,

из пасти сыплются клыки,

все имена забыты, коды,

и душат петли кадыки,

и глохнут уши, шум, моторы,

немует рыбами народ,

и из людей, желез заторы...

Так преужасно начат год...

Женский ответ

Тут феминизм куражит дико -

пи*дой помазан каждый рот,

не члены; биты мужьи лики.

Везде начальствует их род.

Рождений нет и баб с тюками.

Но не пылится полук гладь -

их трут холопскими усами

любая дочь, жена и мать.

Во власти дамской изначально

от женских нор до чёрных ям.

Патриархат подох финально

и обратился в пыль и срам.

Всё потому, что только знали

клевать их, пользоваться, лупить,

осознавая это сами,

что перестали чтить, любить...

Машавица

Дивная красавица

смотрит на меня.

Бирюзово ладится

взор её в тенях.

Чуть ресницы мазаны
кистью смоляной.

Ею же показаны
нити с сединой,

сказки, явь поведаны,
каждый слой и пласт.

С нею мной изведаны
Бог и вкусность ласк,

блюд узоры славные,
вин родных капель

и чаи все травные,
радость солнц, недель.

Рядом думы яснятся,

мир, любой ответ.

Светлая прекрасница,

что сама есть свет!

Просвириной Маше

Благодатная

Ты – к Богу верный ключ

и клад средь дешевизн.

С тобой не так колюч

поход с названьем "жизнь",

и не страшны затон

и трудность, громы, зло,
душистей лес, бутон,
цветней салюты, всё...

Волшебный, нужный стан,
всё ближе и родней,
а каждый чмок – стакан,
от коих я пьяней.

Участный, щедрый ум.

Ты – корень всех имён
и пик мечтавших сумм,
как идеал времён.

Ты – плоть, святая явь,

какую сотни лет,
из лучших дум создав,
искал любой поэт!

Просвириной Маше

Бездомный пёс

Среди дворов, смердящих куч
по ржавым шляпам тёплых люков,
под грязной навесью из туч,
палящим жаром, резью звуков,
по рельсам, рынку, через сквер,
меж стен, фруктовых этажерок,

среди прекрас, средин и скверн,
колясок чад, старух, меж скверов,
тащимых сумок, полных урн,
машин, контейнеров текущих,
и однолюдя, толп коммун,
молчащих, пьющих и орущих,
аллей, дорог, углов в моче,
песочниц, самок и сараев,
среди людей в мешках, парче,
придверных мисок, ям блуждает,
дружа с подвыпившим, гурьбой,

любой рукой, что кормит, гладит,
с кошачьей сворой неродной,
что в общих бедах ныне ладит,
идёт, минуя много вёрст,
и ищет смерть, мосол зарытый
печальный, драный, блудный пёс,
почти невидимый, забытый...

Майский марафон

Я помню блески фар янтарных
и капли жёлтых фонарей,
и настроенья акт пожарный,
фрегат, напёрстки от церквей,

причалы, лавки и сверканья,
одежд, улыбок карнавал,
и змеев уличных порханья,
проспекты, вина, площадь, бал,
и майский люд, и пир мелодий,
и танцы с песнями в кругу,
погода, что была в угоду,
и насыпь, парк на берегу,
бетонный мост, гитары, вскрики,
узор чугунных лент, перил,
шершавых троп сырые стыки,
но чётче – глаз твоих берилл,

где всё искрилось ярким тоном.

Средь лунной тьмищи светлячки.

Вдруг из невидимых бутонов

раскрылись брызги-лепестки

салюта, что играл волшебю

и с переливом чувств мерцал.

Ему подобно, равноценно

в мечтах к тебе тогда пылал...

Просвириной Маше

Тайны лавок

Развёрнутый лавок папирус

от икр, изножья до спин,
за коими жёлтый сергибус
кустится средь елей, осин.

Угольно-ребристые волны
рядами. Бери и читай
ту надпись с заглавья до пола.
Живой лингвистический рай!

Волшебные свитки открыты.
Под небом – дух библиотек.
От глаза учёных укрыты
телесною кляксой. Дефект.

Всё строчки-дощечки хранили!

Как много под краской хранят!

Как много на текст наслоили

рисунков, порезов и карт!

Внимательно бродит учитель,

гурман языка и словес,

а каменный, медный смотритель

хранят то наследие, вес.

Ах, как же богатыся речи,

лишь стоит взглядеться, понять!

Лишь ночью фонарные свечи

помогут спокойно читать,

секреты познать и мгновенья,

и кто их писал из живых...

Лишь утро, дожди мановеньем

спугнут книголюбов от них...

One tree

Твердеют корни и покрытие,

столбится стебель мощью жил.

Я тут рождён ростком с зарытья

и до пилы век буду жить!

Судьба – не петь, не знать корону,

а принимать ворон, певцов,

укоряясь, множить крону

и кольца – вот завет отцов,

невыездным быть, патриотом,

хранить ножей, ударов швы,

и не создать стихов, зиготу,

не быть плодовым и живым,

не ведать стран и речи, чувства

и крика, слёз; рекой не течь,

дарить прохладу свеже, густо,

кормить костры, зимою – печь,

давать тенёк, опору старым,

отраду псам, спине зверей,

и век довольствоваться малым,

смотреть на цвет оранжерей,
на луг, леса и всплески рыбы,
ручьи, котят, фруктовый сад,
цветы, людей, веков погибель
бессильно видеть, но стоять;
и быть мудрее и древнее,
но не суметь о том сказать...

Но оттого всего грустнее,
что вечно некого обнять...

Виновности деревьев

На мне в Эдеме Змий ютился,
а тот – упал среди моста,

а об того – лихач разбился,
а тот – стал стойкой для Христа,
к какой его, стуча, пришили;
а тот – от молнии сжѐг дом,
а те – тараном всё крушили,
другие – стрелы над врагом,
а из-за тех – погибла Троя,
на этом – вздѐрнулся дурак,
с того – свалился сын героя,
за тем вон – прятался маньяк,
на нём – сидел немецкий снайпер,

а этот – рухнув, смял кусты,
иной – убил отскоком шайбы,
другой – паденьем сбил цветы.

Но есть одна у нас заслуга -
до смерти вили кислород,
тем продлевая жизнь округи,
хвостатых и двуногих род.

Улучшения

Тут стало лучше: пни ожили,
вернулись блудные отцы,
цветы воспряли и зажили
туберкулёзные рубцы,

осели все наслои снега,
из нор повылезли зверьки,
из почвы – зелень и побеги,
вода вошла в рукав реки,
опять сюда слетелись птицы,
пришли красавицы, умы,
и засияли солнце, лица,
и дно наполнилось казны,
и просто люди просто вышли,
и заросли все швы, овраг,
и задружили кошки, мыши,
собаки, волки, друг и враг,

и начались труды и краски,
сметенье мусора с дорог,
снялись воинственные маски,
и стал гостей вдруг ждать порог,
и начали рождаться дети,
что так боялись хлада, тьмы,
сожгли дубинки, луки, плети,
и снова стали все родны...

Как хорошо, что в ожиданьи
тепла, рассвета и добра,
среди печали и метаний
не спянул и не сгинул я!

Средние века в Европе

Ах, времена темнее прежних:
век индульгенции и слёз,
все подчинились книге вешней,
худые груди баб и коз,
и вот король уж многократно,
наглея прям из года в год,
своим корявым аппаратом
прилюдно трахает народ.

И он руками резвых воинов
хватает хлеб и новый сбор.

А феодалы бьют убойно,

и меж собой заводят спор.

Молва и хай кишат в халупах,
ведь беден каждый дом и двор.

Но вот народная за*упа
никак не встанет, дав отпор...

Видать, поникли все гормоны,
пришло смиренье, мужий мор.

И каждый с брагой и гармонью
ведёт подпольный разговор...

Когда же средний век минует,
придёт спаситель и бунтарь,

шторм просвещения ум продует,
что смоеет термин "господарь"?

Ну, а пока крестьяне ноют,
снимая в новый раз портки,
и от любви к монарху ноют
иль от озлобья... Хрен пойми...

Лебеди

С открытою душой,
отринув шум, гурьбу,
я в наш раёк вошёл,
забыв про все табу,
смущенье, ход людей,

что есть поток, тропа

и такт, закон властей.

Есть только ты и я.

И так объялись вмиг

два деревца у трав,

что даже страж затих,

увидев лучший сплав!

Как в яви голубой,

плывя почти в бреду,

мы шеями с тобой,

как лебеди в пруду,

совьёмся в тесный шик,

вдыхая запах влас.

Охотник, озорник

ввек не разлучат нас!

Просвириной Маше

Трамвай №3

Бочонок жёлто-красный,

звнящий по кольцу

блестящих рельс прекрасно,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.